

Была ночь. Заканчивался первый период матча Россия—Канада. Канадцы вели 1:0.

В кресле сидел мужчина. Голубой свет экрана озарял в темноте его неподвижное лицо. Слева от него на разложенном в полкомнаты диване спала его жена.

Незадолго до этого супруги не очень хорошо поговорили. Обыкновенный, не из ряда вон выходящий конфликт. Жена пыталась обсудить планы на завтрашний день: кто сводит сына к зубному, кто навестит приболевшую тещу, кто купит продуктов. Она предлагала различные варианты, но мужчина вместо ответа лишь машинально кивал. Его внимание было приковано к экрану: уже началась предматчевая телепередача, в которой специалисты обсуждали шансы российских хоккеистов на победу.

— Ау-у! Ты можешь хотя бы на минуту отвлечься? — повысила жена голос. — По-моему, ты совсем меня не слышишь!

— Я слышу, слышу тебя, — сказал мужчина, продолжая кивать и глядеть на экран.

— И о чём же я сейчас говорила?

Он повернулся к ней, неприятно вздохнул и механической скороговоркой воспроизвёл с точностью почти до единого слова всё, что она сказала. (Хоть он и действительно не слушал её, но сам звук её речи сохранился в его

короткой памяти, поэтому воспроизвести её слова не составило особого труда). Затем он таким же механическим голосом сообщил, что возьмёт на себя зубного и продукты, а к теще пускай идёт она сама.

— Всё? Можно я теперь спокойно посмотрю? — закончил он, уже с нарастающим раздражением.

Жена ответила не сразу. Она явно была удивлена точностью, с которой он повторил её слова. Впрочем, подумав, она пришла к выводу, что причины для радости в этом нет.

— Смотри, смотри... — сказала она. — Хоть обсмотришься. Разогнал всех...

Она сказала так потому, что получасом раньше мужчина рывкнул на детей, которые на ночь глядя разыгрались в родительской комнате, причём именно перед телевизором. Жене было жалко детей, но она сказала им, что отец прав, надо идти спать, и дети ушли в свою комнату.

Теперь, осудив мужа за его поступок, она отошла к комоду и там сняла с себя домашнюю одежду, буднично явив мужчине своё полуобнажённое тело. Он даже не посмотрел в её сторону. Она надела длинную ночную сорочку, лет на пять её старившую, выключила свет и быстро забралась под одеяло.

Начался хоккей, и какое-то время жена наблюдала игру вместе с мужем. Неосознанно пользуясь тем, что она ещё не спит и может его слышать, мужчина то и дело отпуская комментарии по поводу происходящего на экране. Состояние лёгкой ссоры этому не препятствовало: он ведь как бы разговаривал сам с собой.

Мужчина жаловался, что наших удаляют ни за что, в то время как канадцам прощают самые откровенные грубости.

— Конечно! — говорил он язвительно. — У них это “канадский стиль игры”, а у нас это уже “задержка игрока, не владеющего шайбой”! И так будет всегда. Нас все ненавидят!

Когда же канадцы, использовав численное преимущество, открыли счёт, он просто процедил сквозь зубы:

— П-падлы...

Жена повернулась на бок, спиной к мужу, и вскоре засопела. Мужчина перестал комментировать и начал переживать игру внутренне. Не находя выхода в словах, его переживания проступали наружу в виде пота на ладонях.

Прозвучала сирена. Игроки ушли на перерыв, а мужчина — покурить на лестничную клетку.

В подъезде было абсолютно темно, и когда он подносил сигарету ко рту, ему казалось, что уголёк движется по воздуху сам, независимо от его руки, и даже может залететь ему в рот. И точно так же, как его глаза сосредоточились на этом угольке, его сознание сосредоточилось на одном-единственном переживании. Он не мог толком разобраться, что это за переживание, к игре оно относится или к его жизни. Темнота всё смешивала: казалось, что между его жизнью и матчем нет особой разницы, что действия хоккеистов — это действия неких сил в его личной судьбе.

Мужчина вернулся в квартиру, навёл себе на кухне сладкого чаю и съел бутерброд — не от голода, а только чтобы убить томительное время.

Войдя в комнату, он снова увидел спящую жену и задумчиво остановился над ней. Меньше часа назад эта женщина оживлённо говорила с ним, добиваясь его внимания, что-то доказывая ему, о чём-то тоскуя, а теперь ей, кажется, было всё равно. Сон сковал её мысли, сомкнул её губы. Картинки рекламных роликов косвенно отражались на её лице, окрашивая его в разные цвета и тем самым как бы нахально хозяйничая на нём, пока его хозяйка спала и ни о чём не догадывалась. Мужчина невольно представил, что когда-нибудь она так же тихо и бесчувственно будет лежать в гробу, но тут же выгнал из головы эту мысль. Он уселся в кресло, поставив перед собой на табурет чашку и бутерброд, и обратил внимание к экрану. Трансляция продолжилась.

Канадцы выходили из раздевалки со спокойными лицами хозяев положения. Они обменивались шутками, попихивая друг друга локтями, и автоматически плевали перед собой.

Наши выкатились на арену с лицами усталыми и серьёзными. Согнув спины и опершись на клюшки, которые лежали у них поперёк колен, они выписывали на своей половине тревожные круги.

Начался второй период. Канадцы выиграли вбрасывание и начали спокойную перепасовку, чреватую новой опасностью для наших ворот.

На перекур мужчина уходил с уверенностью, что в раздевалке тренер скажет хоккеистам нечто такое, что коренным образом преобразит их игру. Однако сейчас всё указывало на то, что мужчина ошибался. Всё так же бесцеремонно канадцы рвали наш центр, всё так же неубедительно мы пытались прорываться по флангам, и атаки задыхались в сутолоке у бортов, в лучшем случае завершаясь неопасными бросками с острого угла.

Но вот забрезжила надежда. Канадский защитник расскёк клюшкой бровь нашему хоккеисту и отправился на скамейку штрафников — как ни странно, всего на две минуты. После вбрасывания наши завладели шайбой и попытались, как это обычно делается, сомкнуть кольцо у ворот противника. Но тут какой-то расторопный канадец, разгадав передачу русского игрока, перехватил шайбу, стрелой домчался до наших ворот, ложным замахом уложил на лёд вратаря и издевательски вколотил шайбу в девятку.

За нашими воротами вспыхнул враждебный, ядовитый свет. Загудела страшным роем канадская трибуна, задргались на ней флаги с кленовыми листьями. Забивший гол канадец проехался, задрав ногу, на одном коньке мимо нашей скамейки, “поиграв” на своей клюшке не то как на электрогитаре, не то как на балалайке, не то как на чём-то и вовсе неприличном. Потом остальные канадцы обступили его, сгрудились в одну торжествующую кучу и стали хлопать друг друга по каскам. Эти влажно блестящие каски показались мужчине скоплением отвратительных склизких икринок. Наш вратарь растерянно взирал на радость соперников. Канадский тренер энергично жевал жвачку, принимая поздравительные хлопки по плечу от коллег по тренерскому штабу, а наш медленно прохаживался туда-сюда, сплетая на груди руки. Комментатор тоскливо бубнил про то, что если не забиваешь ты, то забивают тебе.

В эту минуту мужчина ненавидел канадцев так сильно, как разве что ненавидел в детстве фашистов из фильмов про войну. Если бы сейчас на подлокотнике его кресла располагалась кнопка, с нажатием которой канадских игроков и всех, кто вместе с ними радуется, разорвало бы на кровавые куски, он ударил бы по этой кнопке, не раздумывая.

— П-падлы... — шептал он, вытирая о подлокотники кресла потные ладони. — Падлы в-вонючие...

Этот гол, казалось, окончательно деморализовал наших хоккеистов. Даже в большинстве они вынуждены были обороняться. Создавалось впечатление, что канадцев на площадке гораздо больше, чем наших. Куда бы ни катилась шайба, первым к ней подкатывался ненавистный канадец. Невыносимость этого зрелища значительно усиливалась тем, что после второй забитой шайбы канадцы стали вести себя по-настоящему вызывающе. Проезжая во время остановок игры мимо наших игроков, они непременно толкали их плечом и, выплёвывая капли на крагу, посылали в их адрес какие-то несомненно унижительные слова. Видимо, им хотелось спровоцировать драку, чтобы одержать победу и на кулаках, тем самым окончательно сровняв нашу команду со льдом. Арбитр как будто не замечал их отвратительного поведения, и мужчина жгуче желал наступить на эту “продажную тварь” каким-нибудь огромным ботинком, как на колорадского жука, а потом с удовольствием поглядеть на мокрое место, которое от этой твари осталось.

— П-падна вонючая... — говорил он и в адрес арбитра.

Под конец второго периода канадцы забросили нам третью шайбу. Тогда мужчина набрал в рот холодного чая и бесчувственно пустил в телевизор струю. Сладкая жижа медленно поползла по экрану.

— Что такое? — встрепелась жена, подняв взлохмаченную голову. — С ума, что ли, сошёл?

— Спи, — сказал мужчина, и жена, что-то прохрипев, уронила голову на подушку.

Мужчина подошёл к телевизору, отключил его, сдержав желание разбить экран кулаком, затем быстро разделся и лёг рядом с супругой.

“Пускай хоть десять-ноль продувают. Мне уже наплевать...” — сказал он себе, и это было почти правдой. Темнота и тишина, мгновенно объявившие комнату, были так естественны, словно не было и не должно было быть никакого хоккея. Мужчине не верилось, что ещё несколько минут назад происходящее на экране казалось ему таким важным.

“Вот и ещё день прошёл”, — произнёс он про себя и вдруг осознал, что уже на протяжении многих лет каждую ночь произносит перед сном эту нехитрую фразу.

“О чём я думаю, когда говорю это? — спросил он себя и без труда ответил: — О том, что стал ещё на один день ближе к смерти, что жизнь уходит. И уходит, — дополнил он, — не так, как я хотел”.

“А как я хотел?” — спросил он себя снова и почему-то вместо ответа припомнил время, когда он ещё был влюблён в свою будущую жену. На самом деле, он довольно часто вспоминал это время, просто сегодня он впервые занялся этим воспоминанием, как делом.

Было это около тринадцати лет тому назад. Они тогда очень много гуляли, и каждый день, проведённый ими вместе, казался мужчине похожим на гениальное произведение искусства: картину, фильм, стихотворение, музыку. Он фотографировал её на старый плёночный фотоаппарат, сам проявлял плёнку и отпечатывал фотографии, потом показывал их ей, и она говорила, чуть не в слезах: “Я не знала, что я могу быть такой красивой. Это потому что ты меня видишь такой”.

Сейчас он настолько отчётливо вспомнил беззаботный, счастливый голос, произносивший эти слова, будто они звучали не тринадцать лет тому назад, а ещё только сегодня.

Он повернул голову к жене. В темноте, к которой его глаза уже успели привыкнуть, бледно прорисовывалось её лицо — лицо сильной усталой женщины, серьёзное даже во сне.

Мужчина отчётливо понял, что это лицо уже никогда не сможет выражать такой беззаботной радости, как тогда, и испугался: неужели это он сделал его таким? Видит Бог, он этого не хотел. Так получилось само.

Он лёг на бок, отвернувшись от жены, закрыл глаза и стал ожидать сна. Но сон не приходил.

“Почему я не могу уснуть?” — задумался он и понял, что уснуть ему не даёт ощущение, что он мелкий, тупой, ограниченный человек.

Когда-то он был уверен, что принадлежит к числу людей избранных — не обязательно гениальных, но, по крайней мере, вечно думающих и беспокойных, вечно удивлённых миром и обременённых какими-нибудь идеями. Он и впрямь был таким, и у него не было сомнений, что он останется таким навсегда.

“Это ведь как музыкальный слух, — говорил он себе в те времена. — Или как езда на велосипеде”.

Но вот прошли годы — и он обнаруживает себя тем самым человеком, которым больше всего боялся стать: перед ним не стоит никакой цели, его потребности примитивны. Только естественный эгоизм, присущий любому “я”, не позволяет ему признать себя совершенным ничтожеством.

Проворочавшись под одеялом длительное время, в течение которого он ощущал себя маленькой раздавленной змеей, в бессильной ярости извивающейся на дороге, мужчина сел на край дивана и снова включил телевизор.

В углу заплёванного сладким чаем экрана значился счёт: 5:3. Наши хоккеисты обнимались и плакали. Канадцы тоже плакали, кто — сидя, а кто — лёжа на льду, словно на пепелище своей родины. Их голкипер, высободив из шлема маленькую мокрую голову, торчавшую из его сложной громоздкой амуниции подобно булавочной головке, катался туда-сюда по тесной вратарской зоне, как зверь, томящийся в клетке. Лица канадских болельщиков — взрослых и детей, мужчин и женщин, — были покрыты одинаковыми масками ужаса. Дополнительное уродство этим маскам придавала особая складка безумной надежды на то, что свершившееся — всего лишь страшный сон.

Мужчине показалось, что эти люди сломлены навеки, что их теперь можно смело выкинуть на свалку, как вещи, не подлежащие ремонту.

Охрипший комментатор, через слово срываясь на фальцет, убеждал отечественных телезрителей, к которым уже не обращался иначе, как “ребята” и “мои хорошие”, что ради таких матчей стоит не то что смотреть хоккей — стоит жить. Прослезившись под российский гимн, он закончил репортаж почти истеричным дифирамбом силе русского духа и призыванием помощи Божьей на всю нашу многострадальную родину, “которую — ей-богу! — рано ещё хоронить”.

Мужчина выключил телевизор. Снова в комнате воцарились тишина и темнота.

Он сидел с минуту неподвижно, слушая, как утихает треск на поверхности экрана, а потом встал и вышел в коридор.

На душе у него стало неожиданно спокойно. Это спокойствие было вызвано не столько победой русских хоккеистов, сколько тем неожиданным равнодушием, с которым он о ней узнал. Если бы сейчас в его распоряжении была кнопка, с нажатием на которую на растерзанные сердца канадцев пролились бы мир и покой, он бы, наверное, нажал на эту кнопку. Отчего бы и не нажать?

Он решил пройтись по квартире. Отправиться в ней можно было либо на кухню, либо в детскую, а больше особенно некуда. Он решил сначала сходить к детям.

Его одиннадцатилетняя дочь и семилетний сын спали на двухъярусной кровати. Мужчина приблизился к ним и долго всматривался в их неподвижные лица, то присаживаясь на корточки, чтобы видеть сына, то вставая, чтобы видеть дочь. Он пытался, но никак не мог уложить в голове самую очевидную истину: эти отдельные маленькие люди — его дети.

Потом он подошёл к окну и с высоты пятого этажа так же долго смотрел на безлюдный двор, уставленный машинами. В доме напротив гасли последние окна: став свидетелями хоккейной драмы со счастливым концом, мужчины спокойно отходили ко сну.

Он поднял глаза на беззвёздное небо и вдруг ощутил свою жизнь очень странной. Такое бывало и раньше, но, пожалуй, с такой силой он не ощущал этого никогда. Как будто за миллиарды веков, предшествовавших его рождению, он успел так сильно привыкнуть к состоянию небытия, что, неожиданно появившись на земле и прожив на ней жалкие три с половиной десятка лет, всё ещё не мог смириться с тем, что люди и птицы, растения и звёзды, машины и дома — это нормально, это так и должно быть.

Он ещё долго не ложился спать: выходил курить на площадку, пару раз прикладывался на кухне к коньяку, снова и снова бродил по комнатам и склонялся, как призрак, над лицами домашних.

Бессонница посетила его впервые в жизни. Отныне она стала посещать его часто...

Где-то через месяц после этой ночи жена начала замечать в муже перемены.

Из дома исчезло спиртное, он выходил курить гораздо реже, а вскоре и перестал совсем.

Изменилось его отношение к телевизору: теперь, сидя в кресле напротив экрана, он, казалось, не *смотрел телевизор*, а смотрел *на* телевизор.

Он перестал повышать голос на детей; он не делал этого, даже когда они по-настоящему этого заслуживали.

Он стал намного меньше есть, отчего сильно похудел и помолодел лицом.

На просьбы жены он теперь реагировал спокойно, дружелюбно и старался выполнять просимое как можно скорее и лучше. На её вопросы он отвечал кратко и вдумчиво; сам же разговоров практически не заводил.

Но самой странной из его перемен была следующая: он стал приносить с улицы разные мелкие предметы. Это были перья птиц, крылья бабочек, плоды каштана, кусочки древесной коры, отслужившие детали неизвестных механизмов. Для этих предметов он завёл специальный ящик, который держал

в кладовке. Когда дети спрашивали его, зачем он принёс домой тот или иной предмет, он вместо ответа приближал этот предмет к их лицам, медленно поворачивал его разными сторонами и просто называл его:

— Камешек... Дошечка... Стёклышко...

Детей такие ответы, видимо, вполне удовлетворяли. Нельзя сказать, что они удовлетворяли и жену. Ей не терпелось понять, зачем ему эти предметы и вообще — что с ним происходит. Она давно прибегла бы к прямым вопросам, но что-то подсказывало ей, что этого лучше не делать. Она надеялась, что муж объяснит всё сам, однако проходили дни и недели, а он продолжал молчать. Нередко она улавливала едва заметное выражение нежной благодарности в его глазах и понимала: он благодарит её именно за то, что она ни о чём его не спрашивает.

Детям новый отец во всех отношениях нравился. Они с нетерпением ждали его с работы, гадая, какой предмет он принесёт домой на этот раз. Чем бы они ни предлагали ему заняться, он моментально вставал с кресла и шёл в их комнату. Он строил с ними шалаши из простыней, учил их настольным играм, читал им приключенческие книги, разыгрывал с ними сказки с участием игрушек. Дети стали чаще садиться к нему на колени, целовать его, гладить и говорить ему о том, как они его любят. Принимая их ласки, он иногда обращал взгляд на жену, и в его глазах светилась та же загадочная благодарность.

Однажды, где-то два месяца спустя после матча Россия-Канада, он затеял уборку в кладовке. Старьё выкинул, нужные вещи убрал на антресоль. В опустевшем пространстве он установил маленький стол и табурет. На стол поставил три вещи: ящик с таинственными предметами, которых накопилось уже множество, лампу и свой старый плёночный фотоаппарат.

Кладовка находилась рядом с кухней и, готовя ужин, жена хорошо слышала разговор мужа с детьми.

— Ты будешь тут чем-то заниматься? — спросила дочь.

— Не обязательно я. Вы тоже можете. Смотрите, как тут стало хорошо.

— А ты что будешь тут делать? — спросил сын.

— Точно не знаю. Может быть, приду сюда ночью, высыплю эти штуки на стол и буду их рассматривать.

— И фотографировать? — поинтересовались дети.

— Может быть.

— А почему ночью?

— Потому что ночью тихо, ночью все спят.

— А ты? Не спишь?

— Иногда сплю, а иногда нет.

— Почему?

— Так получается. Я уже взрослый. У взрослых людей иногда бывает бессонница. Вы вот не знаете, а я сегодня ночью к вам заходил в комнату. Даже поцеловал вас. Ты, — сказал он дочери, — даже не пошевелилась, а ты, — обратился он к сыну, — сморщился вот так, чмокнул два раза губами и на другой бок перевернулся. Видимо, ты был очень недоволен, что я тебя потревожил.

Дети посмеялись.

Жена подошла к кладовке, держа в руке ножик, пахнувший луком.

— У тебя что, действительно бессонница? — спросила она как можно более буднично.

— Да что-то да, — ответил мужчина, идеально переняв её интонацию. — Уже, видимо, возраст: старею. Мама рассказывала, что у отца...

Тут он пресёкся, догадавшись, что сравнение с отцом обязательно прибавит жене тревоги, но фразу нужно было заканчивать.

— ...что у отца это началось где-то в таком же возрасте.

— А можно мы к тебе тоже ночью придём? — спросил сын и, возобновив прерванный разговор с отцом, вынудил мать вернуться на кухню ни с чем.

— Думаю, что это ни к чему, — слышала она, продолжая резать лук. — Дети ночью должны спать. У вас же нет бессонницы?

— Есть! — поспешили соврать дети и снова засмеялись.

— Неправда. Вы спите крепко, как медведи зимой. Поэтому всё, что вам нужно, я вам и днём покажу.

Поздним вечером, когда жена переодевалась в ночную сорочку, ей показалось, будто мужчина любит её.

— Ты чего? — подошла она к нему с улыбкой. Он сидел в кресле.

— Помнишь, — сказал он, — мы как-то говорили о машине? Я тогда как-то отнекивался. А теперь я подумал и решил, что ты права: надо мне получить права, а потом купить машину, хотя бы старенькую, подержанную. Будем вместе куда-нибудь ездить, путешествовать...

Жена прижала его голову к своему животу и не отпускала довольно долго, словно надеясь прочитать животом те мысли, что хранились в этой голове.

Ночью, когда в доме снова стало темно и тихо, жена пододвинулась к мужчине и обняла его. Проводя рукой по его шее, она случайно нащупала довольно крупное уплотнение, находившееся у него под кожей. Привыкнув за эти два месяца не говорить с ним ни о чём из того нового, что она в нём находила, она сначала решила промолчать и об этом уплотнении. Но потом она подумала, что уплотнение — это другое, и поэтому спросила:

— Что это у тебя? Вот тут.

Мужчина потрогал сам.

— Не знаю. Не замечал раньше.

— Не болит?

— Совершенно. У папы... — он снова пресёкся, но опять вынужден был договаривать, — ...похожие штуки были, в нескольких местах.

— Такие же большие?

— Да вроде да. Но он же не от этого...

— И ты, конечно, никуда не пойдёшь эту штуку проверять...

— Почему? Можно и проверить.

— Проверь, ладно? Обязательно...

Жена вдруг тихо заплакала и сжала его крепко, как только могла.

— Ты такой у меня хороший...

Мужчина стал гладить жену по спине, и вскоре она уснула, а уснув, выпустила его из своих объятий и отвернулась.

Ей приснился печальный сон. Всей семьёй, счастливые, они едут на машине по удивительно красивой местности: море, горы, сосны. Он сидит за рулём и о чём-то оживлённо рассказывает ей, а уплотнение на его шее между тем стремительно растёт. Наконец, когда оно достигает размеров футбольного мяча, она не выдерживает и прокалывает это уплотнение неизвестно откуда появившейся в её руке иглой. Она сразу видит совершенно здоровую, гладкую шею, и готова вздохнуть с облегчением. Но тут происходит неожиданное: муж останавливает машину, выходит на улицу и грустно, хоть и без малейшей обиды, куда-то удаляется. Она понимает, что он уходит навсегда...

Она проснулась в слезах и не обнаружила мужчину рядом. Она перекрестилась (что делала чрезвычайно редко), тихо поднялась с дивана, вышла в коридор и увидела слабую полоску света под дверью кладовки.

Подойдя к двери вплотную, она стала жадно вслушиваться в едва различимые шорохи, стараясь по звукам понять то, чего не могли, не смели увидеть её глаза.

Тут что-то отвлекло её, она посмотрела на кухонное окно, за которым светлела летняя ночь, и внезапно ощутила счастье, похожее на то, что испытывала, когда в её животе зашевелился первый ребёнок. Она не знала тогда, кто это будет — мальчик, девочка, — но это не мешало ей нежно поглаживать свой живот — закупоренный домик, в котором так хорошо было маленькому любимому человеку.

Она медленно прошла в детскую, поглядела на детей, поцеловала их, а потом долго стояла у окна.

СВЯТОЙ ДЕНЬ

Было утро третьего мая. Мне было семнадцать лет.

Я шёл через поле по сухой грунтовой дороге и с удовольствием ощущал её твёрдую, чуть прохладную поверхность под тонкими подошвами полубед. Было пасмурно, тепло и очень тихо. Птицы пели в ельнике немного по-кладбищенски, по-апрельски, как будто где-то ещё лежал снег. Но снега не было нигде. Из ельника пахло тёплым песком и муравьиной кислотой.

Минут десять назад я вылез из палатки и увидел двух своих товарищей, которые сидели у костра. Они рассказали мне, что не спали всю ночь. Теперь они готовили кашу для всей команды и смеялись над всем подряд. Я попрощался с ними, прохрустел сосновыми иголками по странной тёмной земле, вышел из-под холодного крова корабельной роши на открытый утренний свет и зашагал по полю.

В лагере осталось без меня одиннадцать человек. Почти все они были моими ровесниками. Наш водный поход начался позавчера утром и должен был продлиться до завтрашнего вечера, но мне пришлось сойти с маршрута раньше: отцу сегодня исполнялось 50, я не мог пропустить его юбилей.

Я мысленно оглядывался на два дня, прожитых мной в походе. Они казались долгими, как две недели или даже два месяца, потому что за это время я успел влюбиться, побороться за взаимность и потерпеть поражение.

Вчера вечером вместо меня был выбран другой.

Я против желания воображал, как в эту минуту они лежат, обнявшись, в его палатке; их губы очень близко и иногда соединяются в сонном поцелуе. В этой картине было что-то непоправимо жуткое — как ясное утро перед казнью, как известие о неизлечимой болезни. Мне хотелось куда-то проснуться от этого, но я знал, что просыпаться некуда, что всё случившееся — правда.

Желая спасти свой мир, я пытался убедить себя в том, что она слишком приземлённая и на самом деле не такая уж красивая девушка, но, подыскивая этому доказательства, я вынужден был припоминать её речь, лицо, походку, а это, в свою очередь, причиняло мне новую боль.

Она собиралась поступать в какой-то престижный технический вуз и, как мне показалось, намеренно держалась в образе непроходимо технаря, глухого ко всему, кроме фактов. Она не допускала в своей речи ничего романтического, восторженного. Если ей рассказывали о чём-то прекрасном, она либо пожимала плечами, как пожимает ими глухой, когда к нему обращается на улице незнакомец, либо изрекала что-нибудь приземляюще ироничное. Когда разговор однажды коснулся смерти, она заявила, что перспектива небытия ничем не пугает её.

Может быть, этот не в меру засушенный, едва ли не базаровский образ, — наряду, разумеется, с её приятной внешностью, — и покорила меня прежде всего. Мне вдруг остро захотелось увидеть её другой: доверчивой, нежной, податливой, немного робкой, — одним словом, женственной. Добиться же этого можно было лишь одним путём: завоевав её.

На тот момент я ещё не знал большей близости с женщиной, чем близость короткого поцелуя, поэтому мои ухаживания за девушкой носили наивный, почти школьный характер: я всего лишь пытался как можно сильнее рассмешить её. Каждый раз, когда мне это удавалось, я считал, что на шаг приблизился к цели.

Тот *другой*, которого она в итоге мне предпочла, был, я думаю, более опытен и подошёл к ней с другой стороны. В самом начале вечера, когда мы только начали ставить палатки, он предложил ей *тест на доверие* — так он это назвал. Она должна была повернуться к нему спиной и начать падать назад; он должен был её поймать. После того, как они проделали это в первый раз, он сказал:

— Неудача. Ты согнула колени и выставила руку.

— Это рефлекторно, — сказала она.

— Нет, — сказал он. — Ты должна падать прямо, будто кол проглотила. Ты должна ни о чём не думать и довериться мне.

— С какой это стати? — шутливо возмутилась она.

— Давай ещё раз, — сказал он строго вместо ответа.

Все отвлеклись от своих палаток и внимательно смотрели на этих двоих.

Они проделали свой номер ещё раз. Она начала падать прямо, как он просил, но в последнее мгновение опять невольно сгруппировалась. Видимо, она рассчитывала, что он поймает её почти сразу; он же, чтобы усложнить задачу, решил поймать её у самой земли. Впрочем, он всё равно поймал её за подмышки. Все увидели, что его пальцы коснулись её груди, но это прикосновение не выглядело как нечто интимное; казалось, оно не выходит за рамки теста на доверие.

Вставая с земли, девушка посмотрела на него, ища одобрения. Наверное, в этот момент между ними и пронеслась какая-то электрическая искра. Я, конечно, отказался это заметить, и теперь, шагая по полю, больше всего жалел себя именно в эту минуту, — когда я всё ещё верил в силу своих детских ухаживаний, а исход на самом деле уже был предreshён.

— Опять недоверие, в самом конце, — сказал он спокойно. — Давай ещё разок, последний.

В третий раз она всё сделала правильно. Он легко поднял её, повернул к себе и отпустил не сразу.

А тремя часами позже, когда все сидели у костра, он просто взял её за руку и повёл в поле, в темноту. И она пошла за ним. Я видел, как они уходят, я проводил их взглядом.

Помню, сквозь ужас происшедшего я всё же сумел порадоваться тому, что этот день подходит к концу, а завтра я уезжаю и мне, стало быть, не грозит увидеть её такой, какой я мечтал её увидеть, — доверчивой, податливой, нежной — к другому. Мне казалось, я бы этого не вынес.

Я попросил одного из товарищей налить мне побольше водки, выпил, взял гитару и стал выкрикивать в ночь одну за одной печальные красивые песни. Полчаса спустя я заметил сквозь слёзы, как он и она вернулись к костру. Он обнимал её за плечо, она его за талию. Я не посмел взглянуть в их сторону. Несколько минут они слушали, как я пою (он даже подпевал, и, надо сказать, очень фальшиво), а потом скрылись в его палатке.

Я напился до рвоты, до полной потери равновесия, потому что знал, что иначе мне не уснуть. Последнее, что я помню из того вечера: друзья тащат меня куда-то, а я выкрикиваю её имя и почти верю, что меня тащат к ней, а того, другого, просто не существует и не существовало никогда, он только показался, почувлился, а она лежит в палатке и ждёт меня...

Я застыл посреди дороги, чтобы сделать глубокий вдох, вникнуть в окружающий мир и получить от него утешение, но вместо этого проникся страшной догадкой: мир равнодушен к побеждённым. Это великолепное утро опустилось на землю для них, влюблённых, меня же оно ласкает лишь по остаточному принципу; так некая часть влаги, предназначенной садовником для прекрасных цветов, достаётся укрывшимся в их тени сорнякам.

Я продолжил путь. В потоке моих переживаний, довольно пёстрых, но одинаково безнадежных, я иногда отчётливо улавливал линию совсем другого, странного и ничем не оправданного чувства: что всё происходящее — в целом — прекрасно. Как будто мой собственный постаревший голос обращался ко мне из далёкого будущего: “Страдай, парень! Ревнуй, рыдай, рви на себе волосы, дубась кулаками себя по лицу! Пускай твоё сердце работает на полную катушку, пока оно это умеет”...

Дорога пошла немного вверх и вскоре вывела меня в посёлок, названия которого я так и не узнал.

Аккуратность этого посёлка была невероятной, почти сказочной: идеально выметенные улицы, ровно стоящие и, кажется, совсем недавно окрашенные деревянные домики с яркими наличниками самой изобретательной резьбы; вместо глухих заборов — похожая на весеннюю дымку сетка “рабица”; на участках ёлочки и уже распустившиеся цветы; в воздухе — едва уловимый аромат берёзового дыма. За домиками — сосновый лес. Сосны невысокие и толстые, причудливо изогнутые, с очень светлыми стволами и очень тёмной хвоей; там, на нашей стоянке, были совсем другие. Напротив домиков

стоит особняком церковь Петровской архитектуры, со шпилем. Храм изумрудный с белым, ухоженный, с мозаикой, двор вымощен природным камнем.

На меня упали маленькие капли, я услышал дождевой шорох и запахи асфальта. Дождик быстро закончился. Можно сказать, его и не было.

В сосновом лесу дважды свистнула птица. Звук получился чистый, как струйка ключевой воды; ничто не мешало ему наполнить собой тишину.

Я подошёл к автобусной остановке. На ней стоял один-единственный человек — маленькая женщина лет шестидесяти. Она была одета в стильную курточку из мешковины с разнообразными кармашками, верёвочками, нашивками, и её младенчески крошечная, обёрнутая платком голова еле выглядывала из капюшона этой курточки. От женщины пахло мылом, простой чистотой.

Вскоре на остановку взошла другая женщина — лет сорока пяти, пахнущая духами и одетая довольно элегантно: на ней была короткая кожаная куртка коричневого цвета, которая очень приятно поскрипывала от каждого движения женщины, и длинная чёрная юбка. На руках у неё свободно болтались тонкие блестящие браслеты, не завязанный шёлковый платок лежал на волосах небрежно, как будто сам случайно упал на них. Я подумал, что в молодости эта женщина могла быть настоящей красавицей.

— Христос воскрес, радость моя! — сказала она старшей, взяла её голову в ладони и нежно, как ребёнка, расцеловала её в щёки, а потом крепко и надолго обняла.

— Воистину воскрес, — не шевелясь, отвечала та из глубины капюшона.

Элегантная женщина выпустила её из объятий, и подруги повели ласковый, неторопливый разговор. Я пытался понять, о чём они говорят, но у меня не получалось. Это был очень необычный разговор. Казалось, что звучание голосов играет в нём гораздо более важную роль, чем содержание фраз. По сути, это был тот же птичий щебет, который рождался не из мысли, не из желания что-нибудь выяснить, а из самой природы этого неповторимого утра.

Из этого щебета, а вовсе не из слов, я узнал, что маленькая женщина — человек огромной духовной силы. Один за одним на неё сыплются страшные удары судьбы, а она не жалуется, а, наоборот, благодарит Господа за всё.

Элегантная дама по натуре своей настолько иронична, что не в состоянии говорить о чём-либо без иронии вообще, но её преклонение перед старшей так велико, что иронически она отзывается не о ней самой, а лишь о тех кознях, которыми лукавый тщетно пытается сломить её мужество.

“Какие удивительные женщины”, — подумал я.

На остановке появился ещё один человек. Это был парень лет двадцати пяти, худой, в сером, многокарманном жилете, надетом на белую рубашку, в синих спортивных штанах с красными лампасами и больших белоснежных кроссовках. От него сильно пахло одеколоном и мятной жвачкой, мокрые волосы были аккуратно зачёсаны назад, а на гладком подбородке виднелись пятнышки свежих бритвенных порезов. Я сразу понял, что этот парень — пьяница.

— Честь имею, — сказал он женщинам, прошёл в будку и уселся на скамейке, закинув ногу на ногу.

— Христос воскрес, Славик! — обратилась к нему элегантная женщина, разумеется иронично, но я как будто увидел её слова начертанными в воздухе: увидел *Ха*, которая сливалась с сосновой хвоей, увидел тёплую звучную *Вэ* и плотные сплетения *эр* и *эс*, знаменовавшие нечто острое, резко стреляющее в небо. Слова вписывались в воздух так хорошо, будто в нём всегда имелось заготовленное для них место.

— Воистину, — ответил Славик не сразу и закурил.

Элегантная женщина взглянула на соседку, но нешла в её глазах иронической поддержки: из глазок сочился однообразный печальный свет.

— Такой красивый с утра, — многозначительно заметила элегантная женщина, снова посмотрев на Славика. Звуки этих слов прозвучали как эхо от “Христос Воскресе”; я даже не сразу понял, что она сказала что-то новое.

Славик не отвечал. Женщина коротко взглянула на меня, незнакомого ей человека, а потом сделала глубокий вдох и, подняв голову, сказала:

— Эх, красота вокруг какая. — Кажется, красота окружающего мира была ещё одним предметом, о котором она соглашалась отзываться без проники. — Люблю такие дни. Солнышка нет, а тепло. И дождя, наверное, не будет. Что-то в этом есть такое особенное.

— Святой день, — сказал Славик из будки. — Вроде так в народе называется.

Он картавил.

— Святой день, — повторила элегантная женщина, зачарованно кивая. — Точно. Святой день...

Вдруг огромная радость охватила меня. Сейчас подойдёт автобус, я буду ехать в нём долго, видя всё новых интересных людей, слушая их разговоры, непременно тихие, потому что в святой день невозможно говорить громко. Я буду смотреть за окно и любоваться святым днём. Из этих незнакомых мест я постепенно перемещусь в мой родной город, и он будет казаться мне уже немного другим. Потом я приду такой, как есть, не переодеваясь, не отмываясь от запаха костра, в ресторан, где уже начнётся празднование юбилея, и обниму отца, который будет в костюме. Никто не осудит меня, потому что все меня очень любят. А ещё я уже достаточно взрослый, чтобы выпить вместе со всеми водки или коньяка. С месяц назад родители разрешили мне и курить при них, не скрываясь: “Что с тобой поделаешь?” Я хорошенько выпью, поем праздничной вкусной еды. Меня попросят спеть — и я, конечно, спою. Я окунусь в человеческий праздник с его мимолётным светом и необъяснимым, где-то даже приятным предчувствием печали. На празднике обязательно будет отцовский студент, которого я очень люблю. Он старше меня лет на десять. Он большой оригинал, я невольно стараюсь быть на него похожим. При нём я курю уже лет с четырнадцати. Мы возьмём со стола какую-нибудь бутылку и выйдем на улицу. Мы найдём приятное место, присядем там, и я расскажу ему про то, что пережил в походе. Я очень доверяю ему. Он внимательно выслушает меня и скажет что-нибудь яркое, где-то, возможно, и жестокое, но не для того, чтобы поиздеваться надо мной, а только для того, чтобы избавить меня от ненужных переживаний. Он говорит, что видит во мне себя самого десятилетней давности. Он боится, что я по неосторожности скачусь в то же болото, в котором, как ему кажется, сидит он сам.

Подъехал автобус. Я радостно запрыгнул в него...

В тот день я впервые расстроил родителей своим пьянством: я не рассчитал своих сил и напился на юбилей вдрызг. Часов в девять вечера кто-то из друзей отца отвёз меня на машине в родительский дом и уложил спать.

На следующий день я проснулся в своей комнате от огненного солнца, которое пронзило мне веки и коснулось спрятанных за ними глаз. Я вышел на балкон, посмотрел с пятого этажа на раскалённую улицу, где тревожно шумела слепящая зелень, и почувствовал, что от этого солнца уже никуда не деться.